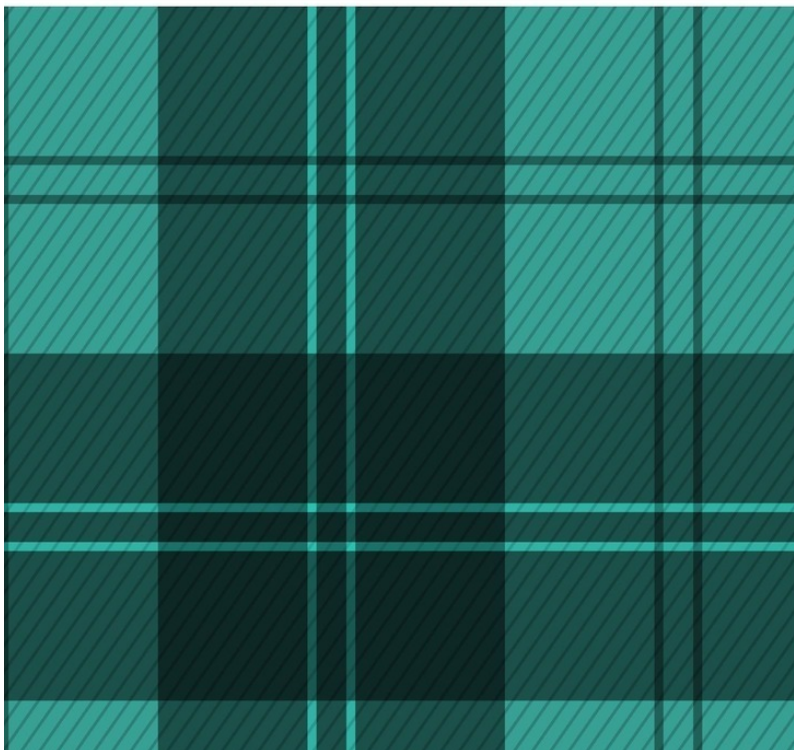


СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

---

# Время памяти



# Сергей Александров

## Время памяти

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=36330209](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36330209)*

*ISBN 9785449326980*

### Аннотация

«Всё о ней, о проклятой... Пусть была и давно... Шли в атаку солдаты в чёрно-белом кино. Взрывы. Сполохи. Пламень. Жирный дым до небес... И остался на память в пни расстрелянный лес, Где воронки – озёра; где оврагом – окоп; Где ручей невесёлый упирается в лобРжавой башне. И птицы там не выют своих гнёзд — Видно, тоже им снится шелест павших берёз...»

# Содержание

История за полтинник	5
1	5
2	9
3	12
4	14
5	17
6	20
7	22
Ванюшин	24
1	25
2	27
3	29
4	31
5	33
6	35
7	36
8	37
9	40
Примечания	43
Аслан	44
Рассказ Дмитрия Васильевича	47
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Время памяти

**Сергей Александров**

© Сергей Александров, 2018

ISBN 978-5-4493-2698-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# История за полтинник

*...эту историю рассказал мне Николай  
Фёдорович...*

## 1

Как-то поздно вечером в конце февраля возвращался я на электричке из Москвы в Клин. Многие сейчас из Подмосковья работают в столице. И я работаю.

Сел в вагон загодя, минут за двадцать пять до отправления. Хорошо, что так рано состав подали – на улице «за минус двадцать», да и ветер, будь он неладен, усилился. После того, как на верхотуре строящейся библиотеки МГУ намерзся, хочется просто обыкновенного тепла со всех сторон, а не колючего снежного песка, бросаемого ветром со всего размаху в лицо. Так что заскочил я в уже протопленный, ещё пустой вагон, сел на тёплую от электропечки лавку – ох и хорошо стало сразу! Думаю: вот сейчас отогреюсь, вытащу планшетник и почитаю. Или фильм посмотрю.

Вдруг из-за спинки следующей лавки поднимается лохматая такая голова, к голове тянется грязная пятерня в рваной донельзя трикотажной перчатке, чешет шевелюру. Потом голова поворачивается вполоборота ко мне, и рот, почти со-

всем утонувший в такой же всклоченной, как и шевелюра, бороде, простужено сипит:

– Слыш, браток, не выручишь полтинником, а? Со вчерашнего в брюхе, окромя гнилого апельсина, ничего не было...

Что ни говорите, а бомжей я терпеть ненавижу. Поэтому, вынув из портмоне стольник – пятидесяти рублей там не оказалось – протянул деньги этому типу с мыслью, что выйдет он сейчас, возьмёт где водки, выжрет, и не появится больше в вагоне...

– Спасибо! Щас сдачи верну. Я мигом!.. – и бомж, оказавшийся невысоким худеньким мужичком в драповом дряхлом пальтишке, пулей вылетел в тамбур, а оттуда и на продуваемый всеми зимними ветрами мёрзлый перрон.

Я успокоено вздохнул. Бог с ней, с сотней! Зато буду избавлен от такого соседства до конца дороги...

Вагон постепенно наполнялся людьми, в основном – такими же, как и я, возвращающимися домой после очередного трудового дня. Студенты и пенсионеры отъезжали на более ранних электричках, так что теперь люди в основном заходили работающие, серьёзные и усталые, и оттого – молчаливые, не склонные к просто пустой трепотне.

Рядом со мной сели две женщины, повздыхали, покопались в своих сумочках, а потом завели между собой негромкий разговор о каких-то препаратах, катетерах, ещё о чём-то. Видно было, что работают обе в больнице – больно спе-

цифическими были термины.

Я открыл портфель, чтобы вытащить планшетник и наушники. А когда поднял голову, то чуть не обматерился – напротив меня, уже неведомо каким образом, нарисовался недавний бомж. Он расположился у самого окна, и с довольной улыбкой протягивал мне смятый полтинник.

– Во, держи, командир! Как и обещал! – и положил мне прямо на планшетник замусоленную купюру. Другой рукой он прижимал к своему совсем не зимнему пальтишке прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором виднелась буханка чёрного, дешёвое молоко в полулитровом пластике и жестяная банка килек...

– Как раз уложился! Как и рассчитывал! – улыбнулся он мне щербатым ртом.

Как ни странно, но густым, шибяющего в нос, запахом давно не мывшегося человека от него не несло. Равно как и сивухой.

Я обречённо вздохнул.

Рядом сидящие женщины что-то буркнули про себя, встали и перешли к другим лавкам, где ещё были свободные места...

Бомж проводил их понимающим взглядом.

– А я ведь уже почти год как не потребляю. И моюсь постоянно. Вот.

И, заметив мой недоумённый взгляд, прибавил:

– Я ж заметил, как ты носом повёл. Да и эти, – он кивнул

в сторону ушедших женщин, – иш как резко снялись. А у меня и вшей даже нету, во как. Раньше были, а теперь – всё, нету. Кажную неделю в санпропускник хожу. В Солнышке (станция «Подсолнечная» – прим. автора) его нет, вот и мотаюсь в Первопрестольную.

Я протянул ему его сдачу:

– Возьмите. Я обойдусь.

Полтинник мгновенно исчез во внутренних дебрях дражного пальтеца.

– Спасибо, конечно. Теперь дня три-четыре точно проживу! Вот Лукич, тот на стольник умудрялся две недели жить – не голодать. И меня учил-учил. Да вот – не доучил, видать... Ничего, что я хлебушка немного пожую?

Рассеянно кивнув, я с преувеличенным вниманием уткнулся в экран планшетника...

## 2

Электричка отошла от платформы.

Народу было много.

Но к нам так никто и не подсел...

– Слышь, командир, – к рукаву моей куртки притронулась, и тут же отдёргнулась рука бомжа, – не пялься ты в эту свою штуку. Тока глаза спортишь. Я тебе лучше вместо этого одну историю расскажу. Лучше всякого твоего кина будет.

– Слушайте, уважаемый, – я впервые за время знакомства с ним повысил голос, – ну, что Вам от меня ещё надо? Дайте хотя бы немного отдохнуть!

– Да ничё-ничё, отдыхайте! Я просто хотел Вам про одного человека рассказать. Вижу, Вы кино про войну смотрите. А ведь он тоже на войне был-то. Не на той, про которую в этом Вашем кине, на настоящей.

– На какой – настоящей, по-вашему?

– На Отечественной, на какой же ещё, где с фашистом воевали. У Лукича и медали были, и орден. Вначале. А потом... Эх!.. Ну, ладно, смотрите дальше свою кинушку!

Бомж отвернулся вбок и с преувеличенным вниманием стал вглядываться в темень за окном.

Настроения смотреть новодел про Бресткую крепость у меня пропало. Я закрыл планшетник и убрал его в сумку.

Так молча мы просидели минут пять.

Я понимал, что чем-то обидел этого незнакомого, не очень-то приятного мне пожилого человека.

А почему, собственно, неприятного-то? Из-за рваного, но, пусть и неумело, но – подлатанного осеннего пальто, которое, видно, пытаются содержать хоть в каком-то порядке? Из-за непричесанных полуседых колтунов на голове? А как-то без шапки в такие холода? Из-за не показного, а самого что ни на есть настоящего, и поэтому – страшного, нищенства? А сам-то я мог на буханке хлеба, пакете молока и банке консервов прожить три-четыре дня?

Мне стало стыдно.

– Простите, не знаю вашего имени-отчества, что вы хотели мне рассказать?

– Да меня все Фёдорычем зовут, – Бомж повернулся ко мне и улыбнулся. – А так я – Николай Фёдорович. Будем знакомы.

– А меня – Сергей.

– А по бабушке как?

– Васильевич.

– Ну, вот и ладно.

Николай Фёдорович поёрзал на сидении.

– Вот ведь, чертяки, печку как включили! Весь зад прожарить можно! – Он снял с рук огрызки перчаток и подsunул их под себя. – Тепло, оно конечно, в такую погоду хорошо. Но так уж – совсем перебор. У нас в коллекторе хоть на изоляции сидели тогда – не так припекало. – Он вздохнул – как-

то по собачьи. Помолчал немного.

– Ты не думай, Васильич, в нашем коллекторе завсегда порядок был. Лукичу за то спасибо. Напоминал нам постоянно, раз по сто на дню, что не свиньи мы, а человеки. И выше этих, как их, обстоятельств, должны быть. Вот так вот...

Фёдорыч задумался.

– Он ведь меня, ну, и таких, как я – нас тогда человек шесть было – нельзя бомжевать поодиночке – и от водки и от курева враз отучил! Не в таком, говорит, мы положении, чтоб на отраву деньги тратить и в свиней превращаться, когда их и на жисть-то еле хватает. И такой закон ввёл в нашем, так сказать, общежитии: кто пьяным придёт, или на курево потратится, тому три дня без еды быть.

И слушались мы ведь как-то его. Сразу чуялось – командиром был. И командовать умел. Именно – умел, а не любил. Эт щас все командывать любят, а никто, почитай, и не умеет. Зато командиров развелось – хоть жопой жуй! Тьфу!

Федорыч в сердцах чуть не сплюнул. Но спохватился. Утёр губы рукавом пальто и виновато посмотрел на меня.

– Извиняюсь... Вот я и хотел про Лукича рассказать.

### 3

Звали его, как и меня, Николаем. Старый он был совсем. Лет на двадцать с гаком меня старше. А ведь я уже пятый класс заканчивал, когда Сталина-то хоронили... Так вот, старый-то он старый, а прямой был, никогда согнувшись не ходил. И когда разговаривал, всегда в глаза смотрел – как бы оценивал: гнилая у тебя душонка, иль стержень в ней ещё остался, не проржавел совсем в труху.

Ну, в общем, за пару месяцев навёл он у нас в тепловом коллекторе порядок. Пить и курить все перестали – ну, об этом я уж сказал. Приучились из спускника по утрам умываться – а я и Лукич и брились ещё постоянно. Раза три в неделю мылись – Петька Хромой где-то старую ванну надыбал. Чугунную. Тяжеленная, зараза – еле в люк спустили. В той ванне и стирали даже. Во как.

Как-то раз, начало осени уже было, Лукич наш куда-то запропал. День нету. Два нету. На пятый под вечер приходит. Весь в синяках. Нос на бок свёрнут, опух. Вместо старенького, но чистого пиджачка – одни лохмотья на голое тело. И в трусах. Но – такой же прямой – как жердь проглотил.

Мы его аккуратненько в нашу «общагу» спустили. Он на лавку присел – были у нас там три лавки, да ещё пяток топчанов и стол старый, круглый такой, – обвёл нас своим взглядом. И сказал странно:

– Не добил я, видать, ещё фашистов. Рано меня списали. Ладно, повоюем... – и завалился боком на лавку.

Петька Хромой за своей мадамой сбегал – Надюхой. Она подъезды мыла в ближних многоэтажках. И у дворничихи в подвале жила на птичьих правах.

Раньше она на скорой работала – да её выгнали. Повесили на нее хищение дорогуших каких-то лекарств – и пинка под зад. Да ещё чуть не засудили... А потом оказалось – эти лекарства её начальник кому-то за бешенные деньги перепродал. Но – уже всё. Поезд ушёл. У Надюхи в голове от пережитого чёй-то сдвинулось. И людей в белых халатах она бояться стала, как чёрт ладана...

Надюха Лукича осмотрела всего, потом, пересилив свой страх, сходила в аптеку, на свои снадобий всяческих накупила, бинтов, йоду... Каждый день к нам приходила, всё Лукича выхаживала...

Когда Лукич поправился – уже как раз снег первый выпал – то как-то попросил он меня раздобыть какую-нить железину, арматурину там, или трубы обрезок... Когда я принёс ему, то он мне и рассказал, что с ним было-то. И до нас, и потом.

Федорыч замолчал. Я поднял голову.

На лавке рядом с нами сидели люди. Уставшие, со своими заботами и проблемами, едущие домой после трудового дня, люди. И слушали, что рассказывал мне Николай Федорович.

А он вроде бы и не замечал их.

## 4

Оторвав от буханки ещё один кусочек, тщательно прожевав его, Фёдорыч вздохнул и посмотрел на меня.

– Ведь Лукич по доброй воле, сам бомжевать ушёл.

Жил он с семьёй – а семья у него большая была – в кирпичном послевоенном бараке. В двух комнатных. Но что такое две комнаты на девять человек? Да и удобства – на улице. Я сортир имею в виду. А мыться – в баню ходили. Вот так и жили.

А потом это место, где барак стоял, приглянулось кому-то.. Ктой-то землю эту купил, значит, чтоб, это, центр какой-то там построить. Начали барак расселять. А вокруг него уж копают вовсю!

Лукичу с семьёй тоже дают новое жильё. В таком же старом бараке, тока на другом конце Солнышка.

Ну, Лукич надевает все свои награды – аж целый иконостас на груди – на свой старенький пиджачок – и в администрацию. Мол, так и так, по закону мне положено то-то и то-то. Сам президент тот закон писал. А ему – на заборе тоже многое чего написано. Бери, что дают – и не рыпайся. Всё одно – помрёшь скоро. А то вишь как зажился – права качать начал. Много, мол, вас тут таких, жалобщиков...

И выкинули из администрации. И охране наказали больше его не пускать.

Но Лукич не сдаётся.

Написал в местную газетёнку. Пригрозился до губернатора дойти...

А через день загорелся барак-то. Ночью загорелся. Всех оттудова уж выселили, тока Лукич с семьёй и остался.

Ну, все повыбегали, кто в чём. Еле успели. Хоть стены и кирпичные, да крыша деревянная. Вот и рухнула внутрь. И всё там выгорело. Ниччë не осталось. Ни мебели. Ни одëжи. Тока документы успели взять, да Лукич свой пиджак с медалями и орденом успел выхватить.

Утром подъезжает чиновник какой-то – из прихлебал в администрации. Важный весь такой. Чë, говорит, доупрямился, газетный писака? Некуда из-за своего упрямства, законник хренов, тебе уж идти. Ваше место уже другим отдали. Осталось тока на кладбище, за оградой...

Старшая дочка Лукича – а их у него трое, дочек-то – запричитала, мол куда ж нам теперь деваться-то? С детьми да с внуками?

А тот гад улыбается. Есть, грит, в полуподвале комнатка одна. Пока там поживёте. А потом видно будет. Вот адрес. Ручкой сделал, сел в машину и – фьють! Благодетель, мать его!

Переехали в ту комнатёнку. Соседи и знакомые пособили, кто чем мог – кто табуретку дал, кто кровать железную, кто из одëжки что. Люди хорошие завсегда вокруг есть.

Но Лукич там жить не стал.

– Нет, – говорит, – без меня и так тесно, а со мной ещё теснее будет. Поеду я в Москву. У меня там знакомец один, мичманок, – ещё с сорок четвёртого, когда его по ранению вчистую списали – живёт, бобылюет один. Правда, года три уж не виделись. Но, вспомнит меня, думаю... Да и Правды там добиваться буду – ведь, небось, в столице, к власти достучаться легшее будет. Никак, президент там, и Дума... Да и вам без меня забот меньше...

И уехал в Москву.

А знакомец-то Лукича, оказалось, уж год как помёр. И в квартирке его уже совсем чужие люди живут. И где тут Лукичу приткнуться? Негде...

Фёдорыч закашлялся.

– Чёй-то горло пересохло, – пожаловался он.

– Возьмите, пожалуйста. – Бутылочку с детским соком протянула женщина вначале отсевшая от нас. – У меня ещё есть.

– Благодарствую...

– Вот загораю я как-то на лавочке на Чистых прудах. Погодка хорошая. Менты не гоняют. Птички щебечут. За пазухой четвертинка сердце греет. В кармане полкруга колбасы ливерной.

Тут садится рядом старик. Высокий такой, под метр восемьдесят, сухой, жилистый весь. На пиджаке награды сияют. А на щеках щетина недельная.

Ну, думаю, щас табличку какую нацепит – и попрошайничать начнёт. Видали мы таких! Знаем...

А старик сидит, ничего не цепляет, ни у кого ничё и не просит. Просто веки прикрыл, видно – отдыхает просто.

Расслабился я – а то хотел было уж уходить. Не люблю, знаешь, конкурентов...

Вот мы сидим, молчим. И вдруг старик поворачивается ко мне, протягивает в руке деньги, и говорит:

– Друг, сходи в аптеку, пожалуйста, нитроглицерину купить. Он-то у меня на исходе. А сердце что-то прижало...

Во, думаю, дурошлёп старый, первому встречному деньги суёт. А купюра-то тысячная. Куплю я тебе, как же! Ты меня здесь до морковкина заговенья ждать будешь...

А старик вдруг глянул мне прямо в глаза. Что он в моих глазах увидел – не знаю. Но вот в его глазах полыхали огоньки – как трассеры от пулемёта...

Вот так мы и познакомились.

Лукич уж дней пять по Москве шарахался. Ну, у нас и притулился. Я ведь тоже с Солнышка. Но бомжевал тогда уж лет семь-восемь. В Москве легче бомжевать...

Пенсию свою он оформил в сбербанке на карточку, да почти все деньги с неё отправлял дочкам и внукам, оставляя себе всего одну тысячу рублей. Из этой тысячи сотку оставлял себе. Остальные сдавал в общий котёл...

Как-то так получилось, что через некоторое время все стали его слушаться. То ли опыта жизненного у него было больше, то ли командирская хватка с фронта осталась. Сам знаю – довелось во Вьетнаме повоевать... А может – и то, и другое...

Раза два-три в неделю Лукич наш ходил выстаивать к Думе. Пару раз у Кремля был. Караулил депутатов, совал в руки им свои бумаги. Его гоняли. Все охранники и менты у Думы знали его в лицо. И оберегали от него покой этих самых народных избранников.

Как-то, после одной такой вылазки, в каком-то из московских проулков, на него налетела стая обкуренных пацанов.

Он отбивался.

Но силы были уже не те.

Выдрав с мясом награды с пиджака, они долго пинали лежащего старика, пока кто-то из проходящих мимо не вызвал милицию.

Лукича, как последнего бродягу, три дня мариновали

в обезьяннике – и всё потому, что в той драке он сломал кому-то из гадёнышей руку. А папенька того ублюдка был какой-то шишкой в той самой Думе...

Но всё ж Лукича отпустили. Есть, есть всё ж у некоторых ментов совесть...

Николай Фёдорович допил остатки сока и запрятал пустую бутылочку в карман.

– Для того, что бы гадить везде – не обязательно быть человеком. Потому что этот процесс не требует душевных усилий, – ответил он на вопросительный взгляд женщины, которая готова была поставить бутылочку под скамью. Там уже стояла ещё одна такая. – Эт так Лукич любил нам повторять.

Женщина, покраснев, прошептала «извините», и, подняв бутылочку, положила её в сумку.

– Лукич больше не ходил к Думе. И на Красную площадь тоже не ходил.

К зиме раздобыл где-то бушлатик и резиновые сапоги с чулками. Договорился с санпропускником в одной из ночлежек – и наша команда ходила туда раз в неделю мыться – всё лучше, чем в бетонном коллекторе в битой чугунной ванне. Да и стригли там нас ещё. И от живности телесной обрабатывали...

После того случая Лукич, когда мы одни были, попросил меня – если с ним что приключится – пользоваться его карточкой без всякого стеснения. Мол, её ещё долго менять не надо. Срок года через полтора выйдет. А то, что его не будет – никому и вовсе знать необязательно. Тока его дочкам из тех денег половину отпращай, а остальное, мол, в общий

котёл. Дал адрес в Солнышке, код для карточки.

И покажам мне затайку, где он хранил её...

Как-то раз просыпаемся ночью от шума. Гул какой-то в коллекторе стоит. И темно – ни хрена не видно. Свечка ещё до полуночи погасла.

Все растерялись, метаются в темноте. Орут.

И вдруг – громовой голос Лукича:

– Всем – молчать! Отставить панику на борту! Приставить трап к люку. Начать эвакуацию!

А по ногам уже вода бежит. Горячая. Почти кипяток. Прорвало где-то. И в коллектор хлынуло.

Приладили лестницу. Отодвинули крышку люка. Стали выбираться.

Изя со своей флейтой выбрался почти что – и застрял. Он тучный был, хотя ел очень мало. Болезнь у него такая была. А тут с испугу поверх своей телогрейки ещё и чужую напялил. Вот и застрял.

Лукич пробрался к нему. Выдернул Изю вниз, как пробку, мгновенно стащил с него обе телогрейки, и буквально вышвырнул его наружу. Потом Петька Хромой полез. Да колченогой ногой за лестницу зацепился – она и грохнулась в воду. А той уже почти по пояс!

И тут Лукич присел – и вытянул железную лестницу из воды. Приставил. И таким же макаром, как Изю, вытолкнул и Петьку.

Потом слепого Матвея так же.

А вода уже выше груди – Лукичу. А мне – по ноздри. И горячая, зараза!

Лукич меня к себе на плечо подсадил. Сунул чёй-то мне в карман пальтишки. Кричит: «Давай, тёзка, жми!»

Ну, я и выжал. Тока успел из колодца вылезти, а за мной уже Лукич. Карабкается руками. Вот ещё немного...

И тут в коллекторе что-то гукнуло. Вода, захлестнув Лукича, столбом рванула вместе с паром из люка. И опала, вытекая толстым жирным потоком и растапливая вокруг себя снег...

Из громкоговорителя раздался скрежещущий голос:

– Станция Подсолнечная. Следующая – Сенеж.

Николай Федорович охнул. Подхватил пакет со съестным под мышку и рванул к выходу. Через полтора десятка секунд двери с шипением закрылись, и электричка поехала дальше, разрезая лобовым фонарём совсем уже запуржившую ночь.

Как эсминец прожектором тяжёлый северный шторм...

# Ванюшин

Рассказывать эту историю надо, наверное, с конца.

С аккуратненького огородика бабушки Поли на краю давно покинутой деревеньки.

С маленькой четырёхугольной дощатой пирамидки-обелиска на краю того огородика – всего-то высотой по пояс.

С неровно нарисованной красной звёздочки на боку выкрашенной уже многими слоями синей краски этой пирамидки.

И с прибитой аккуратно гвоздиками ниже звёздочки тонкой – сантиметра в полтора шириной – полоске, на которой выдавлено **ВАНЮШИН**.

\*\*\*

В этой истории будет четверо рассказчиков: я, как услышавший эту историю, и попытавшийся воссоединить то, что услышал, в единое целое; Ковылкин Иван Павлович, фронтовик, «сын полка», незадолго до смерти передавший тетрадь со своими воспоминаниями в местный краеведческий музей; Олушева Полина Матвеевна – жительница сгоревшего села Вырово, ныне живущая в Вахнове; и тот, кто по многим веским причинам не смог ничего рассказать. И о котором поэтому расскажем мы трое.

А он будет как бы нам подсказывать, что и как было...

## **Иван Павлович Ковылкин. (с 14-ю по 17-ю страницы тетради).**

...Я тогда сыном полка стал, в марте 42-го. У меня батьку убило взрывом, а он ветеринаром был в нашем кавкорпусе. Я ему всегда с ранеными кониками помогал, а иногда, если мелкий какой осколок в крупе засел, то и сам его вытаскивал, а рану обрабатывал.

Меня лошади любили. Я для них специально в карманах таскал кусочки рафинаду и корочки хлебные...

Так вот, меня наши разведчики после того, как батьку схоронили, к себе взяли. Старшина дядя Коля, Николай Вячеславович Сорокин, под свою руку определил. И стал я у него типа вестового...

...Мы тогда в полуокружении были. Фашисты с боков нас жмут, а мы им шороху тоже даём! Леса, перелески, дороги плохие. Нашим верхом сподручно – выскочили внезапно, постреляли, погромсали, и айда в лес.

Но меня в такие рейды не брали. Лишь один раз упросился – взяли с собой проверить деревеньку одну, там накануне партизаны сильно пошумели. Мне даже карабин выдали...

Деревенька вся почти что сожжена. Везде фашисты валяются. Хорошо им партизаны врезали! Я поотстал чуток

от своих, они почти к околице уже подошли. Хотел «Вальтер», что завалился за полуразрушенную печку, достать. Я его издали ещё по мутному такому блеску заметил. Слез со своего Жучка – так моего коника звали – оставил его на дорожке, чтоб о кирпичи бабки не побил, сам аккуратно к печке, и тока руку протянул к пистолету, краем глаза увидал, что крапива вдруг сбоку заколыхалась. Я шею вытянул, смотрю, а там фашист здоровущий на пузе спиной ко мне лежит и выцеливает наших. Как я карабин сдёрнул с плеча – и не заметил, а этот гад вдруг ко мне начал поворачиваться. Ну, я в него и всадил пулю. В шею попал...

Наши сразу прискакали. Дядя Коля фашиста добил, а меня отбрал, что шляюсь, где не попадаю...

А только на Жучке своём отъехал от того места – про «Вальтер» и забыл уж – глянь, малиновые кусты, только зелёными листочками покрылись, тоже шевеляться. Я дяде Коле показал на них. Он ППШ в руку, и потихоньку к тем кустам...

## 2

# USCHI

Умирать совсем не хочется.

А дышать – больно.

А лаять – очень больно.

Уже ночь прошла после стрельбы и грохота.

Тогда что-то укусило в бок.

Как плеть инструктора.

Только больнее и сильнее.

И никого.

Ворона утром прилетала. Потом улетела. Теперь копошиться за сараем. Мертвечину клюёт. Я чую. И слышу.

Глаза хотят спать. Во сне не так больно...

Кто-то едет на больших животных.

А, лошади...

Глаза опять закрываются. Сами.

Выстрел – как по голове ударили чем-то большим – даже глаза разом открылись. И голова с лап приподнялась.

Потом – ещё один.

Тихо.

Вздохнул – лапа от боли дёрнулась.

Раздвинул носом колючие стебли.

На меня глядели два человека – большой и маленький.

Глаза снова закрылись.

Ладошка маленького человека коснулась моего носа. Ладошка пахнет порохом и сахаром. И три-четыре крупинки налипли на пальцы.

С закрытыми глазами слизал сахар.

Вздохнул.

Очень больно.

Очень...

## **Иван Павлович Ковылкин. (с 19- й по 24-ю страницы тетради).**

Привезли мы фашистскую собаку к нам. Я товарища старшину упросил. Сказал, что вылечу. И перевоспитаю!

Дядя Коля сказал, что, ежели я фашиста перевоспитаю, мне сразу Героя дадут.

И все заржали. Дураки!

Мне батя давно как-то говорил, что всякая животина понимает к себе отношение. Злобишь ты её, потому как сама душа у тебя злая, чёрная, и животное злобиться, и зубами руку оттяпнуть может, и копытом насмерть зашибет. А с доброй душой и ласковым сердцем к ней – так животное это враз чует, и никогда против тебя тогда ничего плохого не выкажет и не сделает...

Так что пускай ржут.

У собаки, что мы нашли в деревне, на ошейнике был медальён. Федька Подкрон перевёл про какие-то уши. Не может такая кличка у собак быть...

Грудь у пса была навывлет прострелена, и крови он потерял достаточно.

Навозился я с ним – будь здоров! Ну, и медсестра наша, Марья Ивановна, очень мне пособила в лечении-то.

И через недели три поставили-таки на ноги! И это притом, что мы дислокацию постоянно меняли, воевали, нас и обстреливали, и бомбили. Вот и Федьку Подкрона, ординарца полковника Соколова, командующего нашим кавкорпусом, недавно убило...

А медсестра Марь Иванна, видя, что собака постоянно по пятам за мной ходит, как-то сказала, что это Ванюшин перевоспитанный немец бегаёт. Вот наши разведчики и стали пса Ванюшиным величать...

А Петя Федосов, кошевар наш, даже из обрезка гильзы табличку для ошейника сделал, а на ней выдавил, как собаку зовут. С чего бы это? А Петька только ухмыляется. Хотя, когда я пса раненого привёз, он первый орал, что пристрелить фашистского зверя надо. А теперь вот...

## 4

# USCHI

Слова незнакомые, чужие.

Мягкие, как руки.

А руки хорошие.

Боль убрали, и дышится легко.

Маленький человек всегда рядом. С ним спокойно и надёжно. Он не бьёт никогда, не кричит.

И кнута у него нет.

Что-то постоянно говорит мне.

Не понимаю.

Большая женщина сегодня про меня сказала что-то другим большим людям.

Они смеются.

А мне почудилось моё имя. И уши сразу торчком.

Только слово-имя у них длинное выходит.

Наверное, первая половина – кличка маленького человека, а вторая половина – моя...

Уже привык.

И лошади меня уже не боятся...

Вчера поймал зайца и принёс большому человеку, который всегда даёт мне и всем другим каши.

Он что-то сказал, потрепал меня по шее – и положил в мою миску лишний черпак еды...

Надо будет ещё кого поймать...

## **Иван Павлович Ковылкин. (с 27- й по 31-ю страницы тетради).**

Ванюшин за мной по пятам бегаёт.

Когда я сплю, сидит рядом, сторожит. Никого не подпускает, кроме дяди Коли и Петьки-кошевара.

В начале июля немец почти оттеснил нас назад, перерезал все наши коммуникации, да ещё и 39-й армии тоже, что нашим соседом была.

Постоянные артобстрелы, самолёты с утра до вечера бомбят. Страшно очень.

Потом пришёл приказ, что наступаем скоро.

Нашим разведчикам дали задание – скрытно пробраться в посёлок Погорелое Городище и по радиации координировать огонь батареи.

Меня не взяли. Но, так как погода была плохая – дождь и туманы, я за разведчиками нашими самовольно ушёл. И Ванюшин со мной.

Разведчики устроились в полуобрушенной водонапорной башне. Ночью я к ним заявился.

Дядя Коля даже хотел меня выпороть вначале. Потом передумал. И оставил. Сказал, что утром отправит обратно.

А утром вокруг фрицы засуетились. Пушки возят куда-то,

мотоциклетки целый час тарыхтели на север – оттуда грохот сильный шёл. Потом колонна танков туда-же прошла. И надо же такому случиться, что одному танку водокачка наша чем-то не понравилась. Он, не останавливаясь, повернул свою пушку и вдарил по нам...

Я почти в самом низу был – меня только оглушило. А шестерых наших – насмерть. Только дядя Коля раненый – ему ноги железной балкой перебило.

А Ванюшин из-под груды досок выполз – ему ничего.

А вот рация – вдребезги...

Мы два дня в развалинах сидели.

Под утро 4 августа наши начали артподготовку. А всё с перелётом – не туда бьют.

Дядя Коля тогда написал на карте, куда надо, карту обмотал куском плаща и мне дал. Приказал, чтоб я срочно нашим доставил. А он здесь ещё побудет, дождётся своих.

Мы обнялись, и я с Ванюшиным побежал к недалёкому перелеску. Уже в самом перелеске меня в ногу дурной пулей ранило. Я Ванюшину свёрнутую трубкой в куске плаща карту в зубы дал, сказал, чтоб Марь Ивану нашёл.

Пёс покрутился около меня, потом убежал.

Больше я его не видел...

А через час меня наши подобрали – они к дяде Коле на подмогу шли и рацию с собой несли...

## 6

# USCHI

Маленькому человеку было больно. У него из нижней лапы кровь текла. Такая же, как у меня тогда. Он что-то мне сказал, погладил между ушами, потом тряпку с бумагами мне прямо в рот сунул.

И я понял – надо сбегать за большой доброй женщиной, что убрала когда-то от меня боль.

И я побежал искать её.

Очень быстро побежал.

Потому что знаю, что такое очень больно...

Большую женщину нашёл в знакомой норе из брёвен. Там и другим было больно.

Я положил ей на колени тряпку с бумагой, посмотрел на неё и побежал к выходу.

Побежал назад, к маленькому человеку, которому больно...

## Олушева Полина Матвеевна (её рассказ в вагоне поезда «Москва С-Петербург»).

Мы с сестрёнкой Феней совсем ещё маленькими были тогда. Мне семь лет, а ей и пяти нету. Папка наш воевал где-то. Мамка пошла в Вахново продукты поменять в обмен на вещи – и не вернулась.

Потом, через два дня, начался страшный грохот. Мы с сестрёнкой в подпол залезли, сидим, дрожим.

Долго грохот был. Потом потише стало.

Посидели мы чуток.

Надо выбираться из подпола. А крышка не поднимается. Её, наверно, сверху чем-то придавило. Только щёлочка малюсенькая – еле ладошка пролезает.

Я под щёлку деревяшку подложила.

И сидим мы в подполе этом и плачем.

Сидим – и ревём в два горла...

Вдруг слышим – что-то сверху зашебуршилось, кто-то ходит.

Потом как будто поволокли что-то тяжелое. Даже деревяшка под люком сломалась, и он снова захлопнулся.

А потом вдруг открылся полностью...

## 8

# USCHI

Вокруг машины, лошади, люди.

Все бегут, стреляют.

Под лязгающую страшную металлическую ленту чуть не попал.

Надо бежать в стороне.

Еле убежал.

Там, сбоку, всё ещё грохочет и стреляет.

А я по грязной дорожке бегу.

Сзади – треск.

Передо мной Motorred остановился.

Слышу – знакомые родные слова;

– Siehe, Kurt, welcher guter Hund!

– Ist verlorengegangen...

Ко мне подошёл большой человек с автоматом на шее. Погладил меня по голове.

Потом сказал, указав на коляску:

– Platz!

Всё ясно. Запрыгнул в коляску, и лёг.

Тогда другой большой человек, который сидел спереди на Motorred, засмеялся и сказал:

– Siehe, versteht.

Которого назвали Kurt, сел позади Motorred, и мы поеха-

ли.

Дорога грязная, вся в кочках.

На дне – трясёт.

Но – терплю.

Потом, сквозь тарактенье Motorred слышу, кто-то скулит.

Как щенок. Или два щенка.

Выпрыгнул на ходу из коляски.

Побежал в сторону разрушенного дома.

Маленькая длинная щель в земле.

Сверху – бревно.

Вцепился зубами, оттаскиваю.

Тяжело очень.

И ногам больно – порезался об осколки стекла и острые железки.

Вдруг рядом оказался большой человек Kurt.

Он схватил бревно и оттащил в сторону.

Потом потянул за что-то – и открылась нора в земле, где была щель.

А в норе двое маленьких человек на нас смотрят.

И я вспомнил своего маленького человека.

Он где-то остался.

И ему уже давно больно.

А я ещё не пришёл к нему...

Тот, который Kurt, кричит другому большому человеку:

– Jetzt wird der kleine Zirkus!

Потом взял меня за ошейник, оттащил к Motorred, пока-

зал рукой на двух маленьких человек, и скомандовал:

– Voran! Fass!

Я по привычке оскалил зубы и кинулся вперёд. К норе.

И вспомнил, как мне было больно, а маленький человек прогнал боль.

Я резко развернулся и молча бросился на большого человека Kurt.

И только услышал:

– Vorsichtig, Kurt!

## Олушева Полина Матвеевна (её рассказ в вагоне поезда «Москва —С-Петербург»).

На нас немец смотрел, и собака немецкая рядом была.

Я видела таких собак. Они с фашистами охраняли наших пленных, которые через нашу деревню весной проходили.

Злющие и страшные собаки!

Потом этот фашист оттащил от нас собаку, заулыбался.

Мы выглянули из подпола.

Фашист с собакой что-то сказал другому фашисту, который сидел на мотоциклетке.

Оба засмеялись.

Потом тот, кто держал свою собаку, показал на нас, и что-то крикнул.

И собака помчалась к нам!

Я от страху заорала и закрыла лицо ладонями.

Вдруг слышу рычание. Потом крики.

Потом два выстрела.

Потом опять страшный крик.

Потом выстрел.

Потом стало тихо.

Я отняла ладони от лица.

Смотрю, Феня вылезла из подпола и к собаке идёт. А собака на фашисте лежит. Я тоже подошла. Посмотрела.

Первый немец лежал около мотоциклетки с разорванным горлом.

Второй завалился на коляску спиной.

В его шею вцепился немецкий пёс.

Собака вся была в крови и ошмётках шерсти.

И часто-часто дышала.

А из боков свистело.

Я погладила её по носу, и она отцепилась от фашиста.

Мы с Феней еле-еле оттащили собаку от мёртвых немцев.

Я нашла у себя в кармашке маленький кусочек рафинада – его мама дала мне перед уходом. И Фене такой же дала, но та его давно зализала.

Этот кусочек я протянула собаке.

Она чуть открыла глаза, лизнула сахар.

Потом глаза её закрылись.

И она умерла...

Мы с Феней на краю огорода выкопали могилку, обложили её изнутри досками, что нашли в нашем разрушенном доме.

Потом я заметила какую-то табличку на ошейнике.

Сняла ошейник и отёрла табличку от грязи и крови.

На тусклом желтом металле таблички было выдавлено  
**ВАНЮШИН.**

Bcä.

# Примечания

USCHI – распространённая немецкая собачья кличка.

Motorred – мотоцикл.

– Siehe, Kurt, welcher guter Hund! (– Смотри, Курт, какой хороший пёс!

– Ist verlorengegangen... (– Потерялся...)

– Platz! (– Место! – термин немецкой дрессуры.)

– Siehe, versteht! (– Смотри, понимает!)

– Jetzt wird der kleine Zirkus! (– Сейчас будет маленький цирк!)

– Voran! Fass! (– Вперёд! Взять! – термин немецкой дрессуры.)

– Vorsichtig, Kurt! (– Осторожно, Курт!)

# Аслан

– Вылет самолёта «Москва-Октябрьский» в связи с неготовностью принимающего аэродрома задерживается. О времени вылета будет сообщено дополнительно. Следите за нашими объявлениями...

И вот так через каждые пятнадцать минут на протяжении уже более двух часов.

Снегопад.

Непреходящее бедствие для всех маленьких провинциальных аэродромов...

Аэропорт «Быково».

Такие объявления в нём идут с интервалом в одну-две минуты.

Кто-то, размахивая руками, ругается у стойки администратора. И его не слышно. Чей-то пацан лет пяти-шести раскапризничался от долгого ожидания и людского гама – и орёт. И его тоже не слышно. Через пяток кресельных рядов неунывающие студенты хором поют под гитару. И их вообще совершенно не слышно.

Слышно только одно:

– Внимание! Вылет самолёта «Москва- Бугульма» задерживается...

В который раз ругал я себя последними словами. Ишь, ка-

кой барин выискался – не захотел в поезде одни сутки поспу-  
чать – на самолёте ему приспичило! В восемнадцать ноль-  
ноль «Октябрьский» до утра закроют – и будешь на жесткой  
лавке под аккомпанемент диспетчерских объявлений до утра  
бока мять!

С очередным гласом из репродуктора кому-то повезло –  
две тётки с огромным запечатанным рулоном ковра подхва-  
тились и рванули в сторону терминала.

И тут же их места напротив меня заняла пожилая супру-  
жеская пара – осунувшаяся от усталости, с заплаканными  
глазами, женщина, вроде бы – татарка, и прямо таки огром-  
ный – под два метра – сухощавый мужчина славянской внеш-  
ности.

Муж гладил жену своей большой ладонью по голове,  
по плечу, шептал что-то на ухо, заботливо придерживая  
прядь полуседых волос...

«Тоже, наверно, опаздывают – вот и расстроилась женщи-  
на, – подумалось мне. – Да и ладно – у меня своих забот хват-  
ает!»

Еще раза три всё тот же противный и назойливый,  
как осенние мухи, женский голос извещал всех и каждого  
о невозможность полёта в Октябрьский, и я окончательно  
смирился с мыслью о неизбежности ночёвки в аэропорту.  
До Роковых восемнадцати ноль-ноль оставалось всего два  
с половиной часа...

– Извините за беспокойство, где здесь можно отбить те-

леграмму?

Я поднял от Агаты Кристи, которую перечитывал от нечегоделанья во второй раз, глаза.

Тот самый мужчина, что утешал сидящую напротив женщину, слегка склонился ко мне и повторил вопрос:

– Где здесь телеграммы дают, случайно не знаете?

Так я познакомился на коротких полтора часа с Дмитрием Васильевичем и Розой Назимовной.

И с её умершим братом Асланом Назимовичем...

В Альметьевске, куда они летели на похороны, их давно уже ждали. Пожилая директриса седьмой школы, да ещё более пожилой бывший военком горвоенкомата, которому и отослал о задержке телеграмму Дмитрий Васильевич.

# Рассказ Дмитрия Васильевича

– А познакомился с Асланом я на рыбалке. Через год после войны, перед самой демобилизацией.

Сам я ростовский. Только после войны мне в наследство одни обгорелые развалины и достались. Ни матери, ни бабушки, ни двух сестрёнок – никого не оставил мне немец. Отца в начале августа сорок первого не стало – как ушёл добровольцем в июле, так только одна похоронка от него вместо письма и пришла. Ну, я с дому и сбёг. Мне тогда уже шестнадцать и стукнуло – в августе-то. Через город много в ту пору частей шло. Я поутру сдуру в последний из проезжавшей колонны грузовик с ящиками забрался скрытно – тот грузовик на повороте какой-то военный тормознул, выяснял что-то.

Забился в глубине за этими самыми ящиками. И до самого вечера так и ехал. Даже поспал немного, хоть и трясло. Духотища под тентом брезентовым была – вот и сморило...

Вечером колонну разбомбили. Только «мой» грузовик чудом выкрутился из этой адской передряги. Потом, когда уцелевшие из колонны на борт забрались, тогда меня, перепуганного, но живого, и обнаружили. Брезент весь в клочья, в ящиках – дыры от попадания пуль. А на мне – ни царапины. Только шишка на голове, когда о ящик приложило.

Что со мной делать? Обрато не отправить – отъехали порядком уже. А тут ещё шофёр той полуторки, в которой

я схоронился, назвал меня Талисманом. В шутку конечно. Но – нет суеверней солдата, чем солдат на войне. Эт я потом уже понял. А тогда... Тогда взяли меня с собой те солдатики. А потом, где-то через месяца два отправили меня по хodataйству нашего командира капитана Голыбы Тараса Игнатовича в танковое училище под Казань.

И мариновали меня там, скажу я вам, до моего совершеннолетия. Вот так, уже в сорок третьем, после знаменитого курского побоища, я во второй раз попал на войну в качестве механика-водителя «тридцатьчетвёрки»...

Прозвище «Талисман» приварилось ко мне намертво – зубилом не отобьёшь! Но – танк мой не разу не подбили, экипаж в полном здравии до самой Праги долезгал траками... Вот и думай после этого что хошь о суевериях...

Так вот, после войны-то (я домой отпросился на две недели, а через трое суток вернулся) нашу часть под Белой Церковью – эт на Украине город такой – на переформирование поставили. Пригнали новенькие ИСы взамен наших битых «тридцатьчетвёрок», ну и меня сразу командиром экипажа сделали, старлея ради такого случая дали. И я молоденьких пацанов – чуть младше меня самого – гонял до седьмого по-та, натаскивал. Они меня уважали – как-никак две «Красной Звезды», и ещё – медаль одна – «За отвагу», на груди носил. Ну, не считая всякие «За освобождение...»

И вот под Белой Церковью и повстречался вновь с Тарасом Игнатовичем. Он с сорок четвёртого подполковником

ушёл – миной обе ноги повыдидало. Но таким же весёлым, неунывающим остался. Секретарём Горкома поставили...

Вот он по какой-то нужде к нам в часть и пожаловал. Я его, хоть он и без ног, сразу узнал. А он меня, когда я свой позывной назвал – «Талисман».

– Вишь, – говорит, – и взаправду тогда прозвание тебе дали. Жив, бисов сын, живой! И ни царапины, говоришь? А меня, вишь, как окоротило... Хорошо ещё, что снизу, а не сверху! – И смеётся. Обрадовался встрече.

Через неделю снова приехал.

– Димк, а не хочешь со мной завтра на рыбалку махануть? С твоим начальством уж обговорено всё, дают тебе три дня отдыха. Ну что, рад?

А как тут не обрадоваться?

На следующий день за мной прислали потрёпанный армейский «Виллис». И поехал я на свою первую послевоенную рыбалку...

Заехали сначала к Тарасу Игнатовичу. А он с собою ещё берёт кого-то. Того, другого, подводят к машине под руки, как какого-то генерала важного. Только больно молодой генерал-то. Прямо мой ровесник.

И только, присмотревшись, понял я, что это не какая-то там важная птица, а слепой парень с иссеченным шрамами лицом...

Вечером, у костра, Тарас Игнатович и рассказал мне, как

в середине апреля сорок четвёртого, за недели две до ранения его самого, в штаб полка привезли с передовой окровавленного лётчика с нашего сбитого «Лавочкина». Тот двух фрицев в землю по самое некуда вогнал, ну и его самого потом... Осколками плексигласа фонаря побило ему всё лицо. Вместе с глазами...

Второй раз уже в госпитале с ним встретился. Познакомились поближе.

Лётчик назвался Асланом.

– Вот ведь как, – помешивая в котелке уху, жаловался на чужую судьбу Тарас Гнатович, – Аслан ведь только из училища был. Этот вылет всего третий у него. Но зато какой! – Он патетически воздел черпак в вызвездившееся уже небо. – И ведь не пал духом, а, Аслан?

– Не пал, – соглашается сидящий рядом и слушающий с улыбкой на изувеченном слепом лице бывший лётчик. – Твоя правда, Тарас.

– И я вот через это самое тоже воспрял после операции-то. Подумаешь – ноги. Руки есть, голова цела – а эт самое главное. Но Аслан меня ещё раз крепко удивил.

Как-то выступали в госпитале артисты. И вот после их концерта Аслан попросил подойти к нему гармониста – тот аккомпанировал всяческим концертным номерам. И спросил, а можно ли ему, слепому, научиться так же хорошо играть на баяне? Музыкант попросил Аслана что-нибудь ему напеть. А потом сказал, что для игры важны слух и душа.

А глаза – дело десятое. Потом отошёл, а когда вернулся, то принёс с собой баян. «Забирай, – говорит, – это у меня запасной был. Но инструмент хороший, надёжный. Так что – давай, учись. У тебя получится».

И этот хороший человек вытер глаза украдкой. И ушёл...

Так что играет Аслан теперь как бог! – закончил свой рассказ Тарас Гнатович...

Когда добрая наваристая уха была съедена, а всё, что налито – выпито, Степан – водитель Тарасовского «Виллиса», сходил к машине и принёс аккуратно завёрнутый в плащ-накидку баян.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.